

Борис Носик

Востряково



*Часть сборника
Смерть секретарши (сборник)*



Борис Носик

Востряково

«Автор»

2007

Носик Б. М.

Востряково / Б. М. Носик — «Автор», 2007

"...На южных подступах к городу, за кольцевой, то есть в черте Москвы, раскинулось по обе стороны асфальтовой дороги Востряковское кладбище, в просторечье – Востряково. Если говорить строго научно, то Востряково – это поселок Московской области, на худой конец станция Киевской железной дороги. Однако в этой небольшой повести никаких научных сообщений не содержится, так что у нас Востряково – это просто кладбище, лежащее по обе стороны асфальтового шоссе: направо смешанное, русско-еврейское, а если влево от дороги, и к тому же еще по правую руку от ворот, – то одно только еврейское. О нем, главным образом, и пойдет речь..."

© Носик Б. М., 2007

© Автор, 2007

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

14

Борис Носик

Востряково

Живые теснят мертвых. Потому что наш прекрасный мир, как известно, создан для живых, а не для мертвых. Потому что это ради нас, живых, разрастается до огромных размеров эта лучшая в мире столица счастья, мой родной город. А грустные обиталища мертвых уменьшаются, исчезают в асфальтово-панельном океане столицы, отступают на дальние окраины города, к последнему рубежу, кольцевой автодороге, за двадцать километров от центра. Сюда не долетает рокот города, но зато здесь стоит немолчный гул автодороги. Мертвые как бы охраняют рубежи города от вторжения тех, кто пока еще не живут в нем и не прописаны, но, без сомнения, стремятся в него, обетованную столицу, где не переводятся насущные блага жизни.

Живые теснят мертвых, торжествуя победу в гуще расцветающей жизни. Мертвые спокойны, потому что время работает на них. И окончательная победа на их стороне.

На южных подступах к городу, за кольцевой, то есть в черте Москвы, раскинулось по обе стороны асфальтовой дороги Востряковское кладбище, в просторечье – Востряково. Если говорить строго научно, то Востряково – это поселок Московской области, на худой конец станция Киевской железной дороги. Однако в этой небольшой повести никаких научных сообщений не содержится, так что у нас Востряково – это просто кладбище, лежащее по обе стороны асфальтового шоссе: направо смешанное, русско-еврейское, а если влево от дороги, и к тому же еще по правую руку от ворот, – то одно только еврейское. О нем, главным образом, и пойдет речь.

До Вострякова теперь доехать совсем просто – от станции метро «Юго-Западная». Можно, конечно, ехать от метро «Вернадская» или от станции Востряково Киевской железной дороги. Не менее удобно ехать от следующей станции, от Солнечной: автобус от Солнечной на юго-запад отходит каждые пять минут, а то и чаще. Однако быстрее, наверное, все же от «Юго-Западной», хоть и не намного, но все же быстрее. А кто же из горожан откажется сэкономить лишние четыре-пять минут? Впрочем, в праздничные и всякие там поминальные дни все равно и на «Юго-Западной» бывает очередь. Но Черняк чаще всего ездил в будни: пять минут автобусом. У ворот он покупал цветы. Торгующие граждане его уже знали, баба Лиза выбегала навстречу из ямы, аж на самое шоссе. Граждане давно поняли, что он и есть самый стоящий покупатель. С одной стороны, он понимал, что все это тщета, суета сует и никто этих цветов не увидит, не все ли равно, какие поставить, к тому же их все равно через полчаса украдут. С другой стороны, без цветов он никогда не ходил, считал, что неудобно, два-три рубля все же надо истратить у ворот, а может, и больше. Иногда на кладбище приходили сестры. Они были семейные, хозяйственные, и если чего покупали, то всегда получше. Он же покупал, что попадалось, иногда просто оттого, что жаль торгующего, хотя бы и эту вот бабу Лизу, которая стоит тут под забором и ждет покупателя за свои несколько рублей в день, тем более что цветы эти по большей части украдены ею с могилки, может, даже с его могилки, то есть с маминой, принесенные его же сестрами, конечно, уже не та свежесть, что была...

В воротах с Черняком часто здоровалась румяная и цветущая женщина Вера, спрашивала, не надо ли прибрать могилку, хотя уже давно знала, что ему не надо. Не то чтоб жаль было денег, но он и правда не видел проку в том, чтобы какая-нибудь женщина наводила порядок на маминой могилке, как будто она лучше ихнего знает, какой должен быть порядок на могилке, как она должна выглядеть, Ее могилка.

У ворот близ конторы царило оживление, кого-то привезли новенького на вечное поселение, какие-то люди стоят в очереди за лейкой, за ведром и лопатой, у кого-то дела в контору, и кто-то возмущен чем-то. Черняк здесь всегда спешил свернуть вправо, по тихой аллее, ведущей к Первому новоеврейскому. Здесь еще попадались два-три нищих (Черняк давно заме-

тил, что еврейские нищие кажутся ему как бы ненастоящими), потом старик в ермолке с красными, склеротическими щеками и слуховым аппаратом за ухом, а дальше – никого: аллеи, березы, могилы... Старика этого Черняк помнил еще по самым первым своим востряковским похоронам. Хоронили дедушку, а Черняк был тогда совсем юный студент-первокурсник, и старик этот, ему уже тогда было тыщу лет, вдруг прокричал над зимней могилой что-то пронзительное и непонятное, из которого Черняк разобрал одно слово – «мишпоха», что означает род или семья, как раз проходили это слово по всеобщей истории. Черняк отвернулся тогда и пошел прочь один, среди сугробов, проваливаясь в снег по пояс, лелея свою отчужденность, свою непричастность и к этому непонятному крику, и к этому разделению мертвых по анкетному признаку, свой протест против жалкой участи человека, который только что был живой, насмешливый, деятельный и подвижный, был такой, как все, а потом в смерти оказался вдруг докучливым предметом, который надо зарыть в мерзлую землю и грязь, и притом почему-то непременно вместе с евреями, который оказался вдруг клиентом краснощекого старика, может быть, и правда творящего здесь за небольшую плату молитву, а может, просто морочащего голову родным покойного, потому что никто из этих родных не может ни слова понять, что он там кричит. С тех давних похорон много воды утекло, многое переменялось в жизни Черняка, однако он и сейчас не мог понять, отчего все эти люди, при жизни рьяно боровшиеся с несправедливым разделением на беленьких и черненьких, вдруг соглашаются принять как должное это разделение, которое навязывали покойному при жизни. Благо были бы среди них верующие, те, кто верят в воскресение из мертвых, кто хотел бы в Судный день оказаться среди единоверцев, так ведь нет, это были все как есть абсурдные атеисты новейшего времени... И если Черняк даже сейчас не мог понять и принять этого разделения умерших по национальному признаку, то уж тогда, в свои восемнадцать (о, тогда он был самый русский из русских, хотя, собственно говоря, ничего не изменилось и сегодня, просто сегодня он знал, что говорить об этом нехорошо, так же, как неприлично об этом писать, потому что за это хорошо платят, а получать за это деньги неприлично, пристойно только расплачиваться, хотя бы и кровью), тогда он отвернулся и демонстративно пошел в сторону, через сугробы, выбрался на дорогу к машине и стоял там, обсуждая с русским шофером виды на урожай и погоду...

Было тихо, по-осеннему задумчиво и тепло. Черняк узнавал знакомые камни и фамилии (понабрав их по всему свету, евреи привезли их сюда, в Востряково, эти фамилии, специально чтобы утешить его, путешественника и лингвиста: Бердичевский, Коломыйский, Тунис, Палант, Орлов (ясно, бывший Адлер), Сапожников (это ясно), Ломоносов (это еще кто? бывший Тредьяковский?), «писатель Ф.Сито», «раввин московской синагоги», «безутешной Манечке Брук», «универсальное травести», «честный коммунист...»).

Вот, наконец, и поворот, пересохла колонка и непросыхающая лужа возле нее, мерзость свалки – пластмассовые цветы, банки с присохшей изнутри казенно-голубой краской...

Ого, что-то новое. Как они ухитрились всунуть сюда могилу, прямо на повороте, среди осин, на ничьей земле – огромный портрет вполне молодого мужчины, с не облезшими еще кудрями (впрочем, фотография может быть старая), интересно, где заказывают такие огромные фотографии? Ну да, все ясно, режиссер Хайнацкий, значит, фотографию делали на студии. 1932 – 1976, то есть всего 44 года жил и творил режиссер Хайнацкий, короткий век у работников киноискусства, портрет, вероятно, здесь временно, потом поставят что-нибудь каменное и вечное, если не забудут вовсе. Может, и не забудут, наверное, режиссер оставил семью, может, даже две или три семьи...

... Черняк мысленно извинился, наступив на уголок чужой могилы, давно уже безымянной – ни камня, ни надписи, протиснулся между решетками и очутился в своем уголке. С удовлетворением отметил, что новую скамейку (шестую по счету) еще не сперли, опустился на нее, прочитал знакомое имя, такое интимное, их, семейное, почему-то преданное здесь гласности. Сказал: «Здравствуй, мамочка!»

Как всегда, Она рада его приходу. Рада и не рада: у него много своих дел, а он опять едет Бог знает в какую даль, он зря беспокоится, и вот – он опять немножко похудел (если б Она только знала, что за этот год выпало на его долю, слава Богу, все произошло уже без Нее, если бы при Ней... А может, Она знает. Если уж Она могла все угадывать про него на таком расстоянии, что Ей эти перемены, эти переезды, это Востряково?). Конечно, Она рада его приходу, должна быть рада, потому что он был для Нее самым близким человеком, он для Нее, Она для него, был и есть, а если Она не может сказать об этом, что с того? Она и тогда, в последний год, после инсульта, почти ничего не говорила, просто они сидели рядом, сидели, и все, но он ощущал, как ему передается Ее воля, Ее тепло, как тяжесть спадает с души и приходит очищение...

Она все понимала, все могла понять – и самые интимные его переживания, и даже сложности авторства, как всегда настаивая при этом, что Она необразованная, что Она ничего не может дать им, образованным, и только получает от них, от своих детей, так много, так много. Однако Ее оценки и Ее советы опускались к ним с какой-то ошеломляюще высокой позиции, до которой они, барахтаясь в теориях и кодексах своего полубразования, все еще не могли добраться, вероятно, никогда уже не доберутся. Она обладала врожденной интеллигентностью, врожденным этическим кодексом и бесконечной добротой...

В его воспоминаниях она всегда была старше его, и только теперь он понял, что Она была много моложе, чем он теперь, была и осталась моложе.

Однажды Она написала ему в армию, как скучала, когда им приходилось расстаться:

«Бывало, маленького отвезу тебя на неделю к бабушке, а через два дня приезжаю забрать, и дедушка говорит: «Эта коза не доверяет нам ребенка», он не мог понять, что хотя мне 19, я скучаю по мальчику...»

Прошлое становилось все менее реальным, но реальными оставались их сегодняшние отношения, они не прервались, они не могли прерваться...

Так что я тебе хотел сказать, ма? Про театр. Это такое все оказалось дерьмо, такая лажа, ты, ма, просто не можешь себе представить. Пока пишешь, еще ничего, но потом, когда они эту пьесу поставят... Они так все измордуют, ма... А когда они измордуют и тебе уже ничего будет не нужно, они заплатят тебе деньги и скажут, чтоб ты вышел кланяться публике. И ты еще должен радоваться, потому что это редкая удача, чтобы поставили, а то, что это не имеет ничего общего с тем, чего ты хотел, о чем писал, – про это как будто забыли. Что делать, ма, вернуться к своей старой работе? Конечно, надо вернуться... Но самое мерзкое, что писать-то я не перестану и, вероятно, буду писать все те же драмы... Сейчас они предлагают мне ехать в какой-то там дом творчества – за их счет, все условия, ничего не надо делать, – гулять, слушать лекции – вдруг напишу еще что-нибудь в этом роде. Ну да, я понимаю, ты за то, чтобы я поехал, потому что там будут кормить и потому что учиться всегда хорошо и полезно, и пригодится, я мог бы не спрашивать, ма, я знаю, что ты скажешь... Ты всегда говорила: учись, пока есть возможность, учись... И я учился. Да что там за возможность была такая: от полочки до полочки всегда не хватало, ты бегала одалживать, а я учился, идиот, учился, продленное детство...

Острой, непроходящей болью защемило под сердцем чувство вины. Как ни обзывай его, как ни объясняй – комплекс или не комплекс, заслуженной или незаслуженной вины, а только болит, ощутимо болит, реально мучает... Или вот тогда, когда я бросил работу, когда оставил вас без помощи, оставил Тебя без помощи – искал свой путь. Ну да, я искал, я нашел. Но ведь главное заключалось в Тебе, любви к Тебе, в помощи Тебе... Вот и все... Теперь кусай локти, бейся головой о железную ограду. О Боже, всемогущий, всемилостивый... Отпусти мне эту боль, этот грех, эту вину...

Черняк поднял голову – перед ним стояли двое. Кто-то из здешних бандитов, кладбищенских работяг, худой, небритый доходяга-старик и толстый, краснолицый юноша, оба наве-

селе, в общем, уже в норме, однако еще хочется перевыполнить норму, извечное, неукротимое стремление труженика.

– Хозяин! – сказал краснолицый. – Тебе никакую работу сделать не нужно? Глянь – решетка у тебя совсем никуда... Заменить надо. Теперь и узор другой ставят...

– Не надо, – сказал Черняк, страдая от собственной несговорчивости. – Кажется, ничего не надо... Все здесь прекрасно, все как надо, и нечего огораживать...

И тут ему в голову пришла здравая мысль, мудрая и дальновидная и пристойная мысль, выручавшая его к тому же в неловкой ситуации. Он поднял стыдливо опущенные глаза и сказал:

– А что, если удлинить чуть-чуть решетку, вот здесь. Тогда этот промежуток до следующей могилы, пропадающий зазря, войдет в нашу ограду...

– А чего ж, – сразу воспрянув духом, сказал небритый. – Это можно. Тогда у тебя участок будет побольше, ты сможешь цветов насадить или еще чего...

– Да нет... Просто...

– А можешь и просто, – сказал краснолицый. – За свои деньги можешь, за три бумаги мы тебе все сделаем. Можешь и просто...

– Просто – я там лягу, – сказал Черняк убежденно. – Это будет для меня.

– А можешь и лечь. За три-то бумаги...

– Сколько это, три бумаги? – спросил Черняк.

– Три четвертных.

– Семьдесят пять рублей. Хорошо.

Черняк не дал обнять себя, и тогда они дружно попросили аванс – три рубля. Всего три рубля, которые им нужны позарез. Найти их будет нетрудно – Николай Гаврилыч и Валера, Валерий Григорыч.

«Николай Гаврилыч, Виссарион Григорыч...» – повторял Черняк, собираясь уходить. Свидание было вконец испорчено. Он снял с березы пиджак и пошел к выходу на аллею.

У режиссерской могилы Черняк увидел женщину. Она сидела на скамеечке, растерянно опустив руки. Еще совсем молодая. И очень красивая. Она подняла взгляд на Черняка. Потом резко отвернулась. Может, смутилась своего неуместного внимания. Черняк подумал, что он, наверно, чуток похож на этого Ш.Хайнацкого, во всяком случае, на того, какой он здесь на портрете. И еще Черняк подумал, что ему рано умирать, потому что на могилу его приходиться будет некому...

У ворот Черняк отметил, что он озабоченно смотрит на часы. Число, месяц, час... И смотрит не потому, что решил высчитать, сколько ему еще осталось суетиться и бегать. А потому, что уже вспомнил о делах. Он усмехнулся. Какие же у тебя дела, у сердечного? Разве ты не купил себе место сегодня? И разве в отпущенные тебе несколько часов, несколько дней, пусть несколько лет у тебя останется не одно-единственное дело – осмыслить и прочувствовать то, что с тобой происходит, ощутить каждый миг происходящего? Черняк увидел зеленый огонек и махнул таксисту.

* * *

Валя отвернулась от прохожего, постаралась думать о другом, о своем. О Сене. Сеня. Какой был Сеня... Она вдруг подумала, что этот человек, который прошел, очень похож на покойного Сеню. Такого, какой Сеня был раньше. Правда, не совсем. Сеня был и раньше другой. Он был решительный. Он был энергичный. И его все слушались. Он тебя видел насквозь. И он говорил тебе очень точные слова – и про тебя, и про твою жизнь, и про твоё искусство. Он был обаятельный. Море обаяния. Бездна обаяния. Особенно когда он хотел тебя обаять. Особенно вначале – на «Большой любви». А потом уж ему не нужно было. И подлец он был,

конечно, как все мужики. Все им мало. Всегда мало. Они не понимают, что ли, что у них у самих мало. Не хватает. Вместо того чтоб подумать о женщине, как с ней сполна расплатиться, они прыгают с места на место, с одной на другую... И что хорошего? Вместо того чтобы сбегать чувство...

Нет, конечно, он был добрый, Сеня. Не злой. И так его было жалко, когда его эта штука скрутила, аж почернел. Уж тогда-то он понял, что такое жена, чтоб туда каждое утро, каждый божий день с бульончиком, в эту его палату, где такой спертый воздух и пахнет смертью.

Гришка на него будет похож. Гришка его уже забыл. Он и раньше-то отца не часто видел, экспедиции, выбор натуры, съемки, то-се... Она теперь вдова. Слово какое страшное, старорежимное, молодая вдова. Пovýть, что ли, по-вдовьи? Как в «Большой любви» была. Вот совпадение. А тогда не думала, не гадала... Надо домой ехать, а то Гришка придет из школы и смоеется, потом не отыщешь. Надо еще зайти спросить, когда будет памятник.

Чудное все же место... Сколько евреев на «Мосфильме» – никогда таких чудных фамилий не слышала. Какие-то здесь, наверно, не те евреи. Или они после смерти такие становятся? Имена тоже такие допотопные: Арс-Лейб-Нисон, Хая-Рэйзл... Вот и Сеня тоже. Оказалось, что он Шимон. Как странно.

Интересно, как этого звали, который прошел. Наверно, все же как-нибудь по-нормальному. Он, пожалуй, Сениных лет. Может, даже помладше.

Валя вышла на аллею, обернулась, хотела взглянуть на Сенину фотографию, но ее уже не видно было из-за кустов.

* * *

Когда Северцев похоронил Любу, он сразу понял, что это полный крах. Только он еще не думал об этом тогда. Это было тогда как горячка. Горячка слез и горя. Настоящая горячка, даже слезы у него были горячие, щеки горели, а в голове был туман.

Он плакал один, плакал вместе с Любиной сестрой, Раей. И они утешали друг друга:

– Ванечка, не плачь!

– Рая... Рая... Как она... Помнишь... Не надо плакать... И я не буду...

Когда боль утихла немного, он понял, что ее смерть была полным крахом для него. Он давно разучился жить сам, своей волей и разумом. Люба была не только красивая и умная, она была сильная, она знала его и всегда знала, что ему делать. Он был как демобилизованный офицер, прослуживший двадцать пять лет в армии, за порогом которой ему чудится неустойчивость, хаос, катастрофа. Северцев уже ощущал первые признаки катастрофы. Например, он начал больше пить. Он пил до Любы. И только чуть-чуть выпивал при ней, она не допускала его гибели. Теперь некому было его спасти, и у него было оправдание для самого настоящего пьянства. Спасала его пока еще все та же Люба. Он часто приходил на кладбище. И он не мог, просто не решался приносить с собой сюда больше четвертинки. Четвертинку он мог выпить здесь, с нею, за упокой ее души. Она могла бы только одобрить это, но никак не больше четвертинки, это он твердо помнил и никогда не нанес бы ей этого оскорбления. В конце концов, он был тонкий, интеллигентный человек – это ему тоже внушила Люба, и он придерживался этого заданного ею уровня. У ее могилки он потихонечку распивал свою маленькую и читал. У него было ощущение вечера, проводимого в семье. Жизнь его шла по-человечески, не пропадала зря, когда была жива Люба, и сейчас, подле нее, он оставался этим лучшим Северцевым. Это Люба не давала ему пасть.

В ограде Любиной могилки Северцев чувствовал себя как дома. Он читал, выпивал чуть-чуть, размеренно и неторопливо, вид у него был при этом задумчивый, спокойный и добрый. Таким увидела его однажды Вера, прибиравшая соседнюю могилку («Аркадию Семеновичу Писенсон от родных и близких»). Когда Северцев ушел и от аллеи еще махнул рукой на проща-

ные своей Любе, Вера даже прослезилась: вот, гляди, бывает же, а говорят, все мужики одним миром мазаны. С тех пор Вера зачастую специально делала крюк, чтобы поглядеть, как он там сидит, этот вежливый, тихий блондин на своем Первом новояврейском, рядом с Писенсоном. Один раз Вера хотела вступить за него и постеснялась – это когда Гаврилыч и Валера к нему пристали насчет решетки. У него была решетка совсем новая, и он, конечно, отказался. Но Гаврилыч уже разглядел маленькую и попросил их угостить. Вот тогда-то Вера и не стерпела, чуть не выскочила из своего укрытия, чтобы прогнать нахалов, – что им эта чекушка, слону дробина, а человеку испортят весь вечер... Однако она все же постеснялась – могут еще Бог весть что подумать, потом будут языки чесать, тут на кладбище народ такой, сразу понесут, а про нее им пока сказать нечего, потому что она этих коблов ни на шаг не подпускает, очень надо, слава Богу, от своего такого же только-только избавилась. Так что она удержалась, не выскочила, и они, конечно, чекушку у этого человека выцганили, разве ему против них устоять. Раз, два, выжрали и ушли, а человек этот, он тоже стал собираться – испортили ему вечер. Когда он проходил мимо Писенсона, Вера вышла из своей ограды и сказала жалеючи:

– Потревожили они вас. Эх, люди... А может, вам принести бутылочку... Тут продмаг близко... Вы только скажите...

– Нет, нет, не надо, – сказал он. – Так оно и лучше. Жена бы мне тоже не позволила. Это дело плохое.

– Отчего же плохое? – сказала Вера. – Если под настроение, да если немножко, и в компании к тому же. Только мне кажется, что от компаний этих одна беда, ни во что хорошее не втянут, так что и без компании хорошо... Одному...

– Вы так думаете? – спросил Северцев серьезно. – Вы считаете, что в этом ничего такого, слишком уж...

– Конечно, ничего! – воскликнула Вера и взглянула на Северцева с такой добротой и так ласково, что он не вытерпел, отвернулся и, торопливо простившись, заспешил прочь.

Вера долго смотрела ему в спину. Потом повернулась к его ограде и увидела, что Северцев забыл что-то разноцветное на скамеечке. Вера подошла. Это был журнал «Советский экран». Она села и стала читать. На фотографиях здесь были красивые мужчины и женщины, иногда, может, даже и не очень красивые (вон этот совсем на одно лицо с Толей-пьяницей из гранильного цеха), а все равно какие-то не такие, модные и особенные, ни на кого не похожие, хотя на некоторых карточках они и делали вид, как будто они простые работяги или колхозники. А только простые рабочие и колхозники для фотографии себя бы не так держали, понимали, что это все может выйти на люди. Этим же как будто все нипочем, потому-то они и были совсем не похожи на работяг. Но на многих фотографиях было очень красиво, и Вера их долго разглядывала. Истории тоже были описаны настоящие, жизненные, как в индийском кино. Вера дочитала журнал и стала разглядывать карточку на памятнике, под которой было написано, что это Любовь Марковна Северцева, тридцатого года рождения: черненькая и очень серьезная женщина, наверно, образованная, судя по всему, жена – вот таких любят, даже и умрут они, а их все любят, таким почет и почтение, и другая у них, совершенно другая жизнь, как будто на другой земле живут, не как мы небо коптим. Вера заметила, что она завидует покойнице и думает о ней с недобрый чувством. Она подобрала журнал – может, придется отдать потом – и пошла к своему Писенсону, надо еще было подправить кое-чего...

* * *

Бородатый и горбоносый человек трудился в ограде. Он привязывал проволочками к прутьям ограды какое-то изображение в четырехугольной рамке и по временам, отойдя на несколько шагов от ограды, им любовался.

«Портрет, наверно. Еще один фетишист...» – меланхолически подумал Северцев, проходя мимо, и обернулся. Обернувшись, он задержал свой взгляд на изображении несколько дольше, чем это позволяли приличия и осторожность, потому что бородатый человек уже заметил его любопытство, уже закивал ему ободряюще и вопросительно, иронично и торжественно в одно и то же время: вот, видите, дружок, чем я, взрослый человек, здесь занимаюсь. Это с одной стороны. А с другой: ну и как? Правда ведь неплохо получилось?

«А что получилось-то? Что там у него намалевано?» – в смятении думал Северцев, разглядывая необычную композицию. В рамке была различима крошечная фотография на фоне какого-то пейзажа, а по бокам еще две птички, намалеванные безнадежным любителем, а посерединке – ноты.

– Вы, навежно, сразу узнали эти ноты, – сказал горбоносый человек, сильно и приятно грассируя.

– Нет, простите, пока нет, – сказал Северцев, уже подозревая, что он будет сурово наказан за свою неумеренную любознательность.

– Ну как же, как же! Это замечательная песня. Популярная песня. Пгосто пгекгасная песня, и всякий должен ее знать... – Бородатый запел без слов, все же ухитряясь при этом грассировать: – Лял-ля-ля та-га-гам, та-га-гам... Узнаете?

– Что-то мне... Еще не совсем... – мямлил Северцев.

– С чего начинается Година... Та-га-гам, та-гагам...

– А-а-а, ну конечно. Конечно. – Северцев улыбнулся восторженно, благодарно и уже попятился, откланиваясь, когда человек вдруг спросил:

– А это что, скажите мне, за птица? Узнаете?

– М-м-м... Не совсем.

– Ну, как же, голубчик! Это сигин. Мифическая птица сигин. Сейчас объясню почему. Мою свояченицу звали Циля. Это сестга жены, вы уже, навежно, поняли, потому что сам я исконно русский... Владимир Иванович Пгошин, будем знакомы, доцент института Кгупской, завкафедрой атеизма. Нет, нет, пусть вас это не смущает – то, что свояченицу звали Циля. В тангутском языке пегегласовки «ц» и «с» совершенно обычны. Так что Циля и сигин...

– Она была тангутка?

– Кто? Циля? Нет, она была евгейка, как и моя супгуга, но в то время, когда она умигала в муках, стгашная смегть от миомы, я габотал над диссегтацией о тангутах, в доме твогчества, жена пגיעзжала ко мне по втогникам, и вот, когда она умегла...

– Жена?

– Нет, свояченица... Как газ в это время пгекгасная птица-сигин...

Северцеву нестерпимо захотелось выпить.

– Мы еще увидимся, – сказал он доценту. – Я что-то... того...

– Я сразу это увидел... – сказал доцент. – Вы должны бегать. Бегать не как Гилмог. Не бег гади жизни. А жизнь гади движения... Помните, как это у Магкса?

– Хогошо, – сказал Северцев, начиная грассировать против воли. – В дугой газ. Мне на автобус... Пгощайте, пгофессор...

– Мы еще увидимся, – спокойно сказал доцент и засучил рукава, подступая к могиле свояченицы.

Уже выбравшись на аллею, Северцев услышал его бодрое пение:

– С чего начин-нается Г-година...

Впрочем, Северцеву не сразу удалось добраться до ворот, потому что главная аллея оказалась запружена людьми. В стороне, неподалеку от аллеи, шли похороны, но провожающие не уместились в тесных промежутках между могилами. Они стояли кучками в разных местах и толпились на аллее. Северцеву неудобно было проталкиваться через толпу, и он решил переждать. От могилы доносились женские вскрики и бормотание, однако здесь, в стороне, все

было спокойно и чинно. Ровными рядами стояли венки с надписями. «Честному коммунисту, активному общественнику», «Члену партийного бюро», «Начальнику лаборатории диффузных соединений», «Активисту БРИЗ», «Председателю КВЗ». Видно было, что люди, провожавшие в последний путь своего сослуживца, понимали, что в том новом месте, куда он сейчас отправился, ему могут пригодиться все его земные должности и труды (особенно неоплачиваемые, так называемые общественные), весь его земной стаж и все заслуги... Сами эти люди, его сослуживцы, подчиненные и товарищи по разным организациям, испытывали некоторую неловкость по поводу происходящего здесь и потому старались держаться подальше от могилы, от мертвеца и неумеренных надгробных плачей. Эти люди словно бы считали самую смерть и все с ней связанное неким пережитком прошлого, доставшимся нам от царского режима и от темного буржуазного строя, когда медицина была развита слабо, в умах царила религия и на каждом шагу околачивались все эти присяжные поверенные, частные приставы, околоточные, акцизные и другие призраки минувшего. Человек нового общества был создан для счастья, как птица для полета, он молодел с каждым днем (недаром на служебных торжествах он со всей серьезностью пел известную песню: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым») и умирал лишь в порядке недоразумения. Потому самое лучшее, что мог сделать образованный, поистине современный и передовой человек в этой ситуации, – это не замечать происшедший факт смерти и как можно меньше заострять на нем внимание. Потому-то люди, старавшиеся держаться подальше от могилы, говорили между собой о насущных проблемах быстротекущей, но не иссякающей жизни. Северцев, не решавшийся потревожить двух солидных граждан, наглухо загородивших ему проход, стал свидетелем такого диалога, который хотя и не имел внешне отношения к нынешним похоронам, однако самой безотносительностью своей наносил достойный удар как смертельному пережитку, так и ретроградному ритуалу захоронения тела.

– Партбюро у них крепкое, – сказал пожилой мужчина в плаще. – Заворг крепкий. Культсектор сильный. И наглядная агитация поставлена.

– Однако партучеба хромает, – сказал совсем еще молодой, задорный и румяный мужчина в таком же, как старший, длинном плаще. – Четыре кружка по XXV съезду – это курам на смех.

– Да, курам на смех, – подтвердил старший. – Но наглядную со счетов сбрасывать нельзя. Для масс она где-то, по большому счету, важнее. Ну, а с кружками где-то недоглядели...

– Да, да. И где-то недоглядели! – воскликнул молодой.

– Я вот вас соберу, не сейчас еще, в обозримом будущем, – сказал старший, и Северцеву вдруг показалось, что человек этот бессмертен. Он был не просто старший и даже, пожалуй, старый, он был по-настоящему бессмертен. Он еще соберет их в обозримом и необозримом будущем, он наладит им партучебу, поставит наглядную, выберет крепких, изыщет сильных, отсеет слабых, повернет их всех лицом к задачам... Северцеву стало обидно за себя, завидно, и снова нестерпимо захотелось выпить. Однако он твердо знал, что Люба этого бы не одобрила. Конечно, если бы она была жива, не грех было бы ее даже и обмануть разок, с видом на предстоящее раскаяние, восстать против этой жестокости, против ее всевидящего ока, но теперь, когда она была, в сущности, усопшей, во всяком случае в глазах окружающих, нельзя было поступать с ней подобным образом. Этого она не одобрила бы и не одобрит. Северцев знал это наверняка...

* * *

Многолюдные похороны активного партийца задержали в тот день не одного Северцева, но и сидящего человека, чья фамилия была Дробышев. Человек этот, несмотря на фамилию, имел кровную заинтересованность в Первом новояврейском участке кладбища, ибо здесь были похоронены его отец и друг его детства. В прежние времена он посещал и того и другого очень

редко, не чаще чем раз в год, иногда и реже, однако в последние два-три месяца, мучимый своими сомнениями, Дробышев вдруг зачастил на кладбище, словно он искал здесь, как и во многих других знакомых ему местах, ответа на мучившие его вопросы. Дело в том, что Дробышев надумал уехать из Москвы и вообще из этой страны, уехать на Запад, эмигрировать, то есть уехать надолго, а при существующем условии безвозвратности, вероятно, даже навсегда. Это вот «навсегда», а также прочие мысли и сомнения делали исполнение задуманного мучительным для Дробышева, жизнь которого с той самой минуты, как он начал всерьез обсуждать свое решение, стала почти что невыносимой. Он уже больше не мог ни работать, ни путешествовать, ни любить женщин, ни ходить на футбол, а мог только обсуждать и решать без конца эту проблему – уезжать ему или не уезжать, потому что без решения этой проблемы он не мог решиться ни на какое действие, да и всякое действие совершенно лишалось смысла в случае, если он поступит так, а не иначе. За эти месяцы размышления и колебаний Дробышев измотался вконец, а жизнь словно нарочно подсовывала ему ситуации, в которых его психика подвергалась все новым испытаниям. Вот, например, совсем недавно в Монголии...

Но здесь надо отвлечься и сказать то, без чего все прочее, и даже монгольская история, будет непонятно: то, что Дробышев, хотя и имевший какой-то, пусть даже весьма значительный процент еврейской крови, был, по его собственному мнению и по мнению многих окружающих, человек совершенно русский и даже истинно русский¹

¹ Автор вынужден здесь некритически отослать вас к мнению Дробышева, потому что, не являясь сам по крови совершенно русским, автор не может с уверенностью сказать, что же есть на самом деле человек истинно русский. (Примеч. авт.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.